

Андрей Лазарчук, Михаил Успенский

Стекло́нный меч

*А что же будет дальше, что же
дальше?*

*Уже за той чертой, за тем порогом?
А дальше будет фабула иная
и новым завершится этилогом...*

Юрий Левитанский

Рыба

— Доктор Мирош! Коллега! Вы что, меня не слышите? Нолу!

Директор. А мне от экрана не отвернуться и рук с пульта не убрать. Ну что он, не понимает, что ли? На двери написано: «Не входить!»

Надо было добавить — «Убью!»

Я смогла только мотнуть головой и что-то такое сделать плечом. Старичок вряд ли понял значение этих движений, а если понял, то не оценил.

— Может быть, вы всё-таки обратите на меня внимание? Коллега!

Гармоники почти сошлись... почти, но не

совсем. Генератор выдал противное «з-з-з-з», от которого тут же зачесалось в ушах, и зубец упал на четвёртый уровень. Я бросила взгляд на энцефалограмму. В левой височной области «голубая» и «коричневая» линии участились до предела, готовые выдать пик, «красная» же, наоборот, замедлилась и почти утратила амплитуду. Я нажала клавишу, и в кровь собачки поступила доза азимана — достаточная, чтобы предотвратить судороги...

— Нулу! — и директор похлопал меня по плечу. Тому самому, которым я ему сигналила: подожди!

Я обесточила пульт, встала и медленно повернулась к нему — слева направо, чтобы сначала он увидел обожжённую половину лица.

— Да, господин директор?

Он выглядел испуганным. И, конечно, не от созерцания сине-багровых рубцов.

— Нулу, давайте пройдем в мой кабинет... это очень срочно...

— Опять защитники животных?

Он покачал головой.

— Обриш! — позвала я лаборанта. Он выбрался из-за стойки со старой аппаратурой, которая уже не нужна, но списать её невозможно. — На сегодня всё. Обиходь собачек, и можешь идти домой. Господин директор...

Он держал дверь открытой. Бывший полковник, хоть и ветеринарной службы.

В коридоре он взял меня под локоть, нагнулся к уху и зашептал:

— Нулу, в кабинете вас ждёт человек из Комиссии... он не представился, но я его случайно узнал... видел раньше... официально он якобы из Департамента здравоохранения, но я вам говорю... в общем, имейте в виду, понимаете? У вас ведь уже были проблемы...

— Спасибо, коллега, — сказала я.

Спецофицер выглядел так, как положено — то есть был похож на кого угодно, только не на спецофицера. Этаким умеренно пьющий деревенский фельдшер... он и сидел-то на краешке стула, не осмеливаясь осквернить своими потёртыми штанами благородный серо-зелёный плюш обивки; я и не помню, откуда именно привезли нам мебель, но остатки бывшего лоска ещё держались. При виде нас офицер вскочил, уронил лежавшую на коленях шляпу, поймал, прижал к животу — и тут же уронил зажатую под мышкой толстую папку...

— Прошу прощения... господин директор, доктор Мирош... прошу прощения... Инспектор профилактической службы Верике — к вашим услугам...

Я кивнула:

— Чем обязана?

— Доктор, вы знаете, что ситуация в стране критическая...

— Знаю.

— ...а вы уникальный специалист... Наш департамент истребовал вас в качестве эксперта, работа ответственная и в высшей степени секретная, с отрывом от основного места работы, но оплата по высшему разряду с премиальными, не отказывайтесь, пожалуйста...

— То есть я могу отказаться?

— Конечно, но...

— Инспектор, я сейчас провожу серию важнейших экспериментов. Вы знаете, что такое «леволатеральный синдром»?

— Разумеется.

— Так вот, я, кажется, нашла способ заблаговременно определять начало припадка и купировать его без применения медикаментов. Но если я сейчас прерву работу, то потом придётся всё начинать сначала, поскольку животные с обнажённым мозгом долго не живут, а создавать заново всю линию...

— Я понимаю, — убитым голосом сказал офицер. — Но разрешите, я вас немного ознакомлю с темой нашего... с нашей темой? Это недолго займёт... займёт немного... В общем, полчаса хватит. Ах да... и... господин директор?...

— Наедине, — сказал директор. — Я помню.

Мы расположились за директорским столом — со столешницей из настоящего чёрного дерева и твёрдой потрескавшейся кожи с тиснением, изображающим картины радостного крестьянского труда. Наверняка стол этот заказывал себе богатый помещик откуда-нибудь из хлебных прихонтийских степей, прожигавший несправедные богатства в столице. Спецофицер, притворяющийся инспектором, раскладывал какие-то бумаги из папки. Я ждала.

— Доктор, вы подавали в позапрошлом году запрос в наш департамент на проведение исследований, вам было отказано...

— Совершенно верно.

— Теперь мы видим, что была совершена грубейшая ошибка... или даже акт саботажа. Решено начать комплекс работ по обозначенной вами тематике, и было бы неправильно не предложить вам...

— Я подавала два запроса. Один по проблеме распространения паразитического энцефалита, второй...

— Второй, — сказал инспектор.

— Значит, решили обратить внимание на Шар-гору?

— Простите?...

— Там, где я была недавно, есть присказка:

«Не заметить Шар-гору». Пустой берег, и на берегу будто каменное пушечное ядро, только в километр высотой. Не слышали?

— Не приходилось, — соврал инспектор. — Но смысл понял. Да, вот так получилось, что не дали ход вашему запросу и даже постарались запрятать его подальше...

— Что же переменялось?

— Новый директор... мм... он подозревал, что прежний директор препятствует ряду направлений исследований, и... В общем, это подтвердилось.

— Понятно, — сказала я.

— Я тут позволил себе сделать краткую выжимку из вашего запроса, проверьте, не упустил ли я чего-нибудь?

Он вынул из папки несколько листков, скреплённых старомодным зажимом, вынул один и подал мне. На машинке со знакомо скачущими буквами было напечатано:

«Краткое резюме запроса доктора медицины Нолуаны Мирош в департамент науки от 16.11.27.

1. Чем объяснить тот факт, что к нейроаффективному излучению (далее — НАИ) оказались чувствительны только люди; все высшие млекопитающие, включая приматов, полностью интактны?

2. Почему к излучению интактны дети? Почему с годами возраст наступления чувствительности снижался (с 18–22 лет в 01-м году до 12–14 лет в 24-м)?

3. Почему мутации живых организмов на Юге и в долине Зартак на Севере разительно отличаются от радиационных мутаций, исследования по которым опубликованы Императорской Академией Натуральных Наук после Первой Кидонской войны; при этом мутации в центральных областях даже в зонах сильного заражения полностью совпадают с описаниями семидесятилетней давности?

4. Какая технология применена при производстве излучателей НАИ? Почему нет никаких следов предшествовавших разработок? Что за эффект „размножения делением“ означенных излучателей? Чем является само НАИ, если оно не электромагнитное?

5. Если эффект воздействия НАИ таков, каким нам его представили, то почему значительная часть ресурса надаффективного внушения расходовалась на астенизацию и шизофренизацию населения путём многолетней трансляции „Волшебного путешествия“ — ментограмм клинических шизофреников (в разные годы трансляции занимали от 3 до 14 часов в день)? Чем объяснить то, что сильнейший способ внушения не использовался для изменения

потребительского поведения и как следствие — для форсированного экономического роста?

6. Какова была реальная цель ежедневных т. н. „лучевых ударов“ (заявленная не выдерживает никакой критики)?

7. Есть ли техническая возможность проверить, не возобновлено ли где-либо нелегальное использование НАИ (в фоновом режиме, без применения „лучевых ударов“)?

Резюме составлено ст. инспектором ДЗ Мито Верике, 02.02.27».

Я разгладила лист, зачем-то перевернула. На обратной стороне местами отпечаталась грязь от валика.

— Всё верно? — спросил инспектор.

— Учитывая степень сжатия — абсолютно.

— Итак? Или же исследования леволатерального синдрома вы полагаете более важными?

— Леволатеральный синдром можете внести восьмым пунктом, — сказала я. — Не сомневаюсь, что он имеет отношение ко всему перечисленному...

— То есть вы согласны?

— Ещё не знаю. Расскажите подробнее — какой коллектив, кто будет во главе коллектива, аппаратура, транспорт, полномочия...

— Идёт процесс формирования. Считайте,

создаётся новый отдел. Полноценный. То есть только научных работников не менее двадцати пяти человек...

— Кто главный?

— Генерал Шпресс. Он же профессор Шпресс.

— Военный психиатр?

— Совершенно верно. Кстати, он вас помнит.

— Да? С чего бы?

Впрочем, я его — тоже помню...

* * *

— Имя полностью?

— Нолуана Мирош.

— Число исполнившихся лет?

— Тридцать один.

— Образование?

— Высшее медицинское.

— Семейное положение?

— Вдова.

— Сведения о ближайших родственниках?

— В живых не осталось никого.

— Поясните.

— Родители погибли, когда мне было десять лет. Бабушка, у которой я выросла, умерла в пятнадцатом... я только поступила в университет, как... вот. Родители мужа пропали на каторге ещё

при Творцах, а мужа расстреляли уже вы. Всё.

— Эмм... А брат мужа?

— Не знаю. Насколько мне известно, он отказался от родства, так что я с ним никогда не встречалась и даже не знаю, как его зовут.

— Понятно... — следователь зачем-то заложил папку карандашом и захлопнул её. Видимо, чтобы показать — сейчас разговор пойдёт не под протокол. Откинулся, закурил. Мне предлагать не стал. Наверное, знал, что откажусь. — Кстати, чаю не хотите? С сахаром?

— Хочу, — сказала я.

Он нажал кнопку под столешницей — и, когда конвойный заглянул в дверь, велел принести две кружки, и покрепче.

— Вы в курсе, за что именно сидите? — он выпустил облачко дыма и посмотрел на меня сквозь него, как-то непонятно прищурившись. — Нет, статью не надо, своими словами.

— За то, что я была женой своего мужа. За то, что не донесла про его якобы преступления. За то, что не отказалась от него. Наверное, это всё.

Следователь покивал.

— Вы сказали «якобы». То есть в то, что он был провокатор и работал на контрразведку, вы не верите?

— Меня не убедили, — сказала я.

— А что вас могло бы убедить? — спросил он.

Принесли чай. Аромат был... безумный. Да, безумный.

— Я не знаю, — сказала я. — Мне показывали его досье из контрразведки... написано, что он буквально с пятнадцати лет работал на них, агент «Пальчик»... Но сделать такое досье — две недели. Так что...

Я отхлебнула чай. Он был сладкий, как горный мёд. И горячий. Я вдруг почувствовала, что вся промёрзла насквозь.

Следователь молчал, курил. Потом вспомнил про свою кружку.

— Но что вам мешало подписать отречение? — спросил он. — В конце концов, сколько вы прожили в браке? Полгода?

— Семь месяцев.

— И сколько дней из этих месяцев вы были вместе?

— Мало, — сказала я. — Могу сосчитать, если надо.

— Не надо. Мы сосчитали. Меньше двадцати. Так почему вы не подписали, Нолу?

Нолу... надо же...

— Не знаю, — сказала я. — Как-то это... не по-людски...

— Он на самом деле был провокатором, — сказал следователь. — Одним из успешнейших. На его совести сотни жизней подпольщиков. Не говоря

о том, что он фактически начал гражданскую войну...

— Это только ваши слова, — сказала я. — И да, мне показывали электрокопии его сообщений. Но почерк можно подделать... и подпись...

— Вы сами себе не верите, правда?

— Я ничему не верю, — сказала я.

Он шумно отхлебнул из кружки и взял телефонную трубку.

— Капрал, попросите профессора заглянуть к нам...

Несколько минут прошло в молчании. Я допила чай, и мне захотелось попросить ещё. Но этого делать было нельзя.

Заглянул конвойный, увидел, что всё в порядке, приоткрыл дверь шире. Вошёл, опираясь на палку, лысый толстяк в мятом гражданском костюме. Следователь встал.

— Господин профессор...

— Сидите, Номан, сидите.

— Простите, но мне больше некуда вас посадить...

— Может, оно и к лучшему... — тем не менее толстяк, кряхтя, опустился на железный стул следователя. — Итак... итак. Коллега Мирош? Меня отчасти посвятили в суть ваших проблем, но я хотел бы главное услышать от вас.

Следователь Номан — имя? фамилия? —

отошёл к приоткрытому зарешеченному окошку и снова закурил.

— Простите? — спросила я.

— Да, я не представился: доктор медицины Баух Шпресс, профессор Военно-медицинской академии. Вы — зауряд-врач Департамента здравоохранения, профиль широкий, я бы сказал — широчайший... Участница боевых действий, была в плену у мятежников... всё верно?

— Всё верно.

— Как выяснилось во время разбора архива контрразведки, ваш муж долгое время был агентом-provokatorом, внедрённым в подполье, за что судим трибуналом Революционной комиссии и приговорён к смертной казни.

— Я знаю, что он до революции состоял в подполье и занимал там высокий пост. После революции его отправили в стратегически важный регион для восстановления хозяйства. Он очень многим не нравился, поскольку был принципиальным и упорным...

— Упёртым, я бы сказал.

— Упорным и честным. И очень требовательным. Требовали с него, требовал и он. И он умел добиваться своего. Поэтому так кстати появилась архивная папка. А вы уверены, что контрразведка не заводила подобных папок на всех руководителей подполья, чтобы в нужный момент

убирать неудобных руками их же товарищей?...

— Коллега, верно ли, что вы долгое время работали в проекте «Волшебное путешествие» в качестве наблюдающего врача?

— Подрабатывала. Да.

— С ментоскопированием дело имели?

— Разумеется.

— Вы знаете, что подделать ментограмму невозможно?

— В комплексе — да, но отдельные каналы — сколько угодно.

— Разумеется, я имею в виду комплексную. Так вот, с вашего мужа после оглашения приговора была снята ментограмма.

— Что? Зачем?

— Было особое мнение одного из членов трибунала. Якобы подсудимый обладал «множественной личностью», а потому мог считаться невменяемым.

— Но?...

— Это не подтвердилось. Приговор был приведён в исполнение. Ментограмму было предписано уничтожить, но я настоял на её сохранении. Вы можете с ней ознакомиться.

Это было как удар под дых. Я замерла, пытаюсь справиться с дыханием.

— Ему ввели амитал, так что полностью контролировать мысли у него не получалось, —

добавил профессор. — Особенно когда он уснул.

— И я... могу?...

— За этим меня и пригласили, — сказал профессор.

— Пригласили... — тупо повторила я. — Чтобы я могла посмотреть... Да что вообще, массаракш, происходит?!

Следователь вернулся к столу.

— Доктор Нолуана Мирош, Революционная комиссия поручила мне пересмотр вашего дела. Я прихожу к выводу, что вы пребывали в неведении как относительно прошлого вашего мужа, так и, в особенности, относительно преступной деятельности после назначения его комиссаром провинции. Уверен, что прокуратура поддержит моё мнение.

— А при чём тут ментограмма? — спросила я, пытаясь задавить в себе все эмоции. Хотя бы не заорать в голос.

Профессор и следователь переглянулись.

— Так вы хотите с ней ознакомиться? — ещё раз спросил профессор.

Какое-то время я сидела неподвижно, вцепившись в железный стул. Казалось, что он ходит подо мной ходуном. Потом я почувствовала, что трясусь головой.

— Н-нет...

— Почему? — тихо спросил профессор,

наклоняясь ко мне.

Я могла бы долго объяснять ему про то, что иногда умею в буквальном смысле читать по лицам и понимать несказанное, но вместо этого соврала:

— Не знаю... не хочу... просто...

Профессор откинулся на стуле и посмотрел на следователя почти с торжеством:

— Она всё поняла, Нолан...

— Да уж, — сказал тот. — Итак, доктор Мирош, вы на две недели по акту освобождаетесь от общих работ. Завтра вас определяют на работу в медпункте. Ответ из прокуратуры за эти две недели обязательно придёт. Распишитесь здесь и здесь, поставьте дату...

Я механически расписалась.

— А всё-таки, — с любопытством спросил профессор, — почему вы не хотите посмотреть менторгамму? Бойтесь что-то увидеть?

— На... об... борот... — задавив спазм, сказала я. — Профессор, я же не дура. Я побыла душой, но, к сожалению, недолго... Я знаю, чего я там *не увижу*.

Не помню, как я дошла до барака. Барак, как обычно в выходной, притворялся, что спит. Вошебойкой воняло сильнее, чем обычно, и я сообразила, что сегодня меняли бельё. В углу возились. Стараясь не обращать ни на что внимания и даже ни о чём не думать, я переделалась в ночную

робу, расстелила ломкие простыни и легла под негреющее одеяло. Наверное, я уснула сразу, едка коснувшись щекой локтя, потому что, когда меня стали трясти, некоторое время не могла понять ни где я, ни кто я. Потом всё-таки поняла и села.

— Что? — спросила, нависнув сверху, Жаха — здоровенная тётка из «новых политических», моя бригадирша. — Сказали, тебя завтра в смену не брать.

— Да, — сказала я. — Наверное. Не знаю. Ничего пока не знаю.

— Зачем тебя водили?

Врать было нельзя, узнают, что соврала — будет очень плохо.

— Сказали, пересмотр.

— Пересмотр дела? С чего вдруг?

— По вновь открывшимся...

— Падла!.. — она толкнула меня обратно, и я чуть не расшибла голову о поперечину. — Ну, падла...

Пол страшно заскрипел под её толстыми ногами.

Я попыталась не спать, и мне приснилось, что я не сплю.

Я даже не проснулась, когда меня тащили. И когда прижали лицом к раскалённой печке, не сразу поняла и не сразу почувствовала...

— Деточка... — теперь я была «деточка». — Но как же так... я же предупредил — он *оттуда*... всё это как-то скверно пахнет...

Директор был расстроен до степени растроганности. Он готов был меня простить за всё былое и ещё на год вперёд. Лишь бы я осталась.

— Я понимаю, — сказала я тихо. — Но даже если есть хоть один шанс... и даже если этот шанс мне даёт комиссионер... и даже если это будет моя последняя ошибка...

Я замолчала, понимая, что так, скорее всего, и окажется в конце концов.

— Хорошо, — вдруг неожиданно спокойно сказал директор. — Я вас отпускаю в годичный академический отпуск. В конце концов, у вас есть на него право. И если что-то не получится там — вам есть куда вернуться.

— Я что, — голос неожиданно сделался какой-то писклявый, — такой хороший специалист?

— Незаменимый, — сказал директор твёрдо.

— Вот уж никогда не думала...

Теперь мне нужно было не разреветься.

Я встала:

— Спасибо.

— А всё-таки, — директор посмотрел куда-то в угол, — зачем? Почему? Не понимаю...

— Не могу объяснить, — сказала я. — Хочу, но... Это зов. Я же на четверть горянка... Ну, как с гипнокодированием: что-то сидит где-то внутри и реагирует на комбинацию слов, и уже ничего не сделать, сопротивляться невозможно. Я знала, что это когда-то произойдёт, просто не ждала... именно сейчас...

— Значит, медицина бессильна, — сказал директор, подписал пустой бланк и протянул мне. — Заполните — с такого-то по такое-то, сбор материала по теме... ай, что я вам объясняю... Потом в кадры и бухгалтерию. Всё, удачи.

* * *

Комната оставалась за мной и три четверти оклада тоже, а машину я сдала, потому что зачем мне нужна будет машина? Это потребовало некоторой настойчивости, машина полагалась по штату, но я эту настойчивость сумела проявить. Кстати выяснилось, что мне за неиспользованные два отпуска и тьму переработанных часов положена компенсация, за которой надо зайти на следующей неделе — солидная, в общем-то, сумма, особенно по моим запросам.

Потом до вечера я вводила Обриша в тонкости методик, хотя уже понимала — парень всё запретит, и не потому, что дурак, а по причине отсутствия

научного терпения. В нашем деле нацеленность на результат губит почти так же, как в деле каменоломном — разве что руки-ноги остаются при тебе...

Гиротрамваи уже не ходили, и я вызвала развозного. Пока ждала его у проходной, пошёл дождь. Потом я услышала, как отъезжают главные ворота. Из двора Департамента с влажным шорохом выехали три длинных жёлтых лимузина и тут же скрылись за поворотом. Я смотрела им вслед и о чём-то напряжённо думала. Настолько напряжённо, что не заметила подкатившего развозного.

Водитель опустил стекло:

— Эй, тётка, едем?

— Едем, племяшек...

Он гыкнул, но дверь открыть и не подумал.

Я села на переднее, рядом с ним, чтобы он мог любоваться всеми моими рубцами. Нет, вру, не всеми...

— Значит, так, племяшек. Первым делом в «Старого Енота», там подождать, потом в «Галерею», там тоже подождать, потом на Героев, семнадцать. Запомнил или повторить?

— Зап-помнил...

— Сам с Юга?

— Ага. Из Савфакса.

— И как у вас там с белыми субмаринами?

— По реке-то они не осмеливаются... А на

побережье, бывает, ерохвостят. Хотя, мню, всё уж не так, как в прежде. Побаиваться стали.

— Побаиваться — это правильно... — рассеянно поддержала я, а когда он ринулся развивать тему, осадила: — Давай, джакч, езжай — и молча, понял?

Он опасливо кивнул.

В «Старом Еноте» можно было не только поесть за столиком, но и взять еду на вынос. Я часто этим пользовалась, меня здесь знали (такую забудешь...) — поэтому и предлагали иной раз что-нибудь особенное. Вот и сейчас поварёнок Фрош подмигнул мне и сказал, что есть жаркое из кролика под соусом из озёрных грибов. Я засмеялась и сказала, что озёрные грибы до Столицы не доплывают уже давно, а он сказал, что их научились выращивать в садках на Каскадных, и скоро этого деликатеса будет завалиться в любой заводской столовке, а пока — вот, только у них. Я взяла на двоих, расплатилась и направилась к развозному. Развозной толковал о чём-то с длинным хлыщом, похожим на сутенёра. Тот стоял, наклонившись вперёд, держа в согнутой и отведённой руке дымящуюся сигару. Увидев меня, хлыщ кивнул водителю, показал пальцами другой руки какой-то знак и пошёл прочь мерзкой вихляющей походкой.

— Кто это? — спросила я, усаживаясь. —

Чего хотел?

— Я не понял, — растерянно сказал водитель. — Какой-то «весёлый мертвяк»...

— Новый наркотик, — сказала я. — Не связывайся, убьют.

— А вы откуда знаете?

— Эх, малыш, — сказала я. — Мне ли не знать... Поехали.

Три года назад эфимикрин синтезировали как раз для купирования леволатерального синдрома. А не так давно выяснилось, что если его прогреть в кислой среде с банальнейшим древесным маслом...

В «Галерее» я взяла две бутылки тягуче-сладкого «Подморозка»; вино было дорогое, но надо же как-то отметить перемену участи?

Около дома я расплатилась с сильно задумавшимся южанином и пошла в подъезд. Гомонящая стайка подростков у киоска при виде меня пришипилась (был случай, когда я им сделала по-настоящему страшно). Привратник, услышав шаги, открыл один глаз и сказал:

— Вам письмо, доктор.

— Суньте в карман, — я повернулась боком.

Конверт был большой и тяжёлый. Журнал или бомба.

Я поднялась на этаж. Лестницу опять чем-то залили, по углам валялись окурки и пластиковые стаканчики. Дверь квартиры была заперта изнутри,

пришлось звонить. Приоткрылся глазок, потом лязгнула задвижка.

Академик Каан Ши был похож на мумию огромной летучей мыши: тёмное высохшее лицо, запавшие маленькие глазки, длинный кожисто-лоснящийся тёмно-коричневый халат, в который он кутался даже в самую жару... Только ноги выдавали его человеческую природу, потому что на ногах были разношенные войлочные полусапоги, а летучие мыши войлока боятся. Когда-то вся эта восьмикомнатная квартира была его; потом, когда при Творцах Академию низвели до ничтожности, всё у него реквизировали, подселили не пойми кого, одно время даже откровенных бандитов, а ему оставили только кабинет и прилежащую комнатку, где долгое время ютились его взрослые племянники, брат с сестрой. Племянника — он был военный — убили на несчастной хонтийской войне, а племянница сразу после революции оказалась в первой волне жертв леволатерального синдрома, который тогда называли «бабьим бешенством» — почему-то поначалу ему были подвержены только женщины, потом положение выровнялось. Когда новые власти с расшаркиванием решили вернуть академику отнятую тиранами собственность, он неожиданно отказался, попросив только направлять к нему на подселение близких к науке людей. Но мало кто из

учёных соглашался делить с Кааном Ши кров — академик был известен был несдержанностью в научных спорах и изощрённой язвительностью.

Так что я была его единственной квартиранткой, как-то связанной с научной деятельностью...

— Ваше наимудрейшество!.. — я чмокнула академика в щёку. — Сегодня пир. Прошу не возражать. И, если можно, ваши бокалы...

* * *

Сказать, что мы с академиком нарезались, я не могу, но какой-то порожек мы на второй бутылке проскочили — и оказалось, что у нас одинаковый недостаток: чудовищная трепливость. Мы оба торопились что-то рассказать, не слыша собеседника, и вышел дурной галдёж, причём я понимала, что это дурной галдёж, но остановиться не могла. Рассказывать почему-то хотелось про то, про что я и думать себе не разрешала — про арест, про фильтрационный лагерь, про эшелон, про «Скалу»... и я несла какую-то словесную рубленую лапшу, пытаюсь что-то объяснять, описывать, отсылать к классике... и почти перешла на тюремный жаргон, когда поняла, что в нашей компании возник третий.

Это был жилец из комнаты в самом конце

коридора, портной-надомник, забыла, как звать. На столе стояла третья открытая бутылка, а я точно помнила, что покупала две. Третья была с ягодным шнапсом, и мы, оказывается, пили уже шнапс.

Портной смотрел на меня с ужасом, и я не могла понять, почему. Что-то сказала? Да и плевать... Он медленно-медленно опускал руку с вытянутым указательным пальцем — будто палец хотел показать на меня, а он пытался его от этого удержать. Мне стало смешно.

— Солёная, — сказал он.

Смешно быть перестало. Как отрезало.

— Да, — сказала я.

— «Скала». Двадцать шестой...

Я медленно кивнула, пристально глядя ему в глаза. Ну, насколько пристально? Насколько могла пристально. Если честно, глаза плохо сводились...

— Я тебя не помню, — сказала я. — Какой отряд?

— Не отряд. Кастелянная. Там, в углу...

В углу кастелянной за швейной машинкой точно кто-то всегда сидел, сгорбившись — но я в упор не помнила...

— Так это был ты?

Он часто закивал — как горские костяные игрушки.

— А вы что, друг друга знаете? — удивился академик, прервав свой витиеватый рассказ о

всеобщем разуме Саракша, направляющем мутации.

— Получается, да, — сказала я. Хмель слетал стремительно, как от ватки с нашатырём, засунутой в нос. — Расконвой или вольняшка?

— Вольнонаёмный, — сказал портной. Звали его Нуи. Надо же, вспомнила... — Жил там.

— Жил и жил, — сказала я. — Где только люди не живут. Я вон на самой границе выросла...

— Тебя ведь выпустили, так?

— Угу. Пересмотрели дело.

— Всё, вспомнил. Тебя ещё через больничку выпускали?

— Угу.

— А ты знаешь, что сразу после этого полбарака вашего перемерло?

— «Бабье бешенство»? — догадалась я.

— Оно. А ты откуда?...

— А я им сейчас как раз занимаюсь. Или занималась. До сегодняшнего дня.

— Вот как... А все думали, это ты на них порчу навела. Ну, за то, что они сделали...

— Какая может быть порча, молодой человек?! — возмутился академик. — Не мрачные века же вокруг...

— Хотя мрачное время, — сказала я. — Порча существует, ваше высокомудрейшество. Но вас я этому мастерству учить не буду, да и переубедить

тоже. И то и другое крайне опасно, согласитесь. В смысле, опасно для меня.

Академик возмущённо заворчал и заквахтал, что от меня он такого не ожидал, то есть ожидал, но не такого, — но быстро вернулся к теме невероятных мутаций, слишком уж похожих на направленное и даже разумное воздействие на генетический код. Мысль была интересная, следовало запомнить... просто я поняла, что меня безумно тянет на приключения. Это могло кончиться плохо. Не обязательно для меня.

Порча таки существовала...

...В конце концов, если можно каким-то тайным способом воздействовать на генетический код, и наука в лице академика Ши эту тему не извергала из уст, то почему она должна извергнуть тему тайного воздействия на взрослый организм?... Тема извержения из уст меня насторожила, я прислушалась к себе, но ничего подозрительного не ощутила.

Я повернулась к портному.

— А что, вспышка бешенства была только в нашем бараке?

— Не знаю точно, — сказал он. — Кажется, в одном. То есть в вашем.

— Надо будет об этом подумать, — сказала я, забыв, что надолго рассталась с лабораторией вообще и леволатеральным синдромом в

частности. — Ох, я же не сказала, за что пьём! Я перехожу из научного в здравоохранение! С понижением! С экспедициями! Ну, дура же я, правда?

Академик стал пристально рассматривать меня поверх бокала — будто это был не бокал, а ручка невидимой лупы. Лупа была двусторонняя — я наконец увидела его раскрытый глаз.

— Зартак? — коротко каркнул он. С характерным горским выговором, почти без гласных.

— Откуда вы?...

— Меня приглашали, — сказал он. — Но приглашали таким тоном, будто надеялись, что я соглашусь.

— И вы согласились?

— Нет, отказался. Уже не то здоровье, чтобы спать на снегу в палатке. А вам, коллега, это в самый раз.

— Ну да, — сказала я.

Для моих переломанных рёбер...

— В любом случае, — сказал портной, — я вижу, вы очень довольны. Поэтому позвольте ещё по капельке...

И мы выпили ещё по капельке. А потом ещё. И только потом я вспомнила про жаркое.

Мы съели его холодным.

А подливка из озёрных грибов оказалась

совершенно безвкусной, да ещё с запахом тины. Но чего, скажите, можно ещё ожидать от грибков, выращенных в садках в тёплой затхлой воде?

Чак

Мне приснился гнусный сон, от которого я и проснулся. Сроду сны не снились, а тут — вот. Будто я лежу на спине и смотрю в небо, а там множество ярких точек и яркая Чаша, и я понимаю, что уже где-то когда-то это видел, но не сейчас, а в какой-то другой жизни. Потом я соображаю, что вижу небо сквозь преломленную крышу. А ещё чуть погода — что между мной и крышей характерная продолговатая дырка деревенского толчка, и в эту дырку я и пытаюсь обозреть небесные сокровища...

Ясное дело, пришлось выволакивать себя из этого сна, а то так бы и утоп в дерьме. Но нет, обошлось.

На этот раз.

В доме было темно, и старатели мои выдавали такие хоровые трели, что сам Великий О заслушался бы и прослезился. Я потихонечку встал, подкинул пару поленьев в почти погасшую печку, ненадолго вышел на крыльцо полюбоваться на поникшие ветви старой яблони и заодно отметить, что туман вроде как начинает рассеиваться, —

вернулся, подвинул табурет к печке, набил трубочку здешним джакчным горлодёром и закурил, пуская дым в поддувало.

Давно не наваливалась на меня такая тоска...

Ну да, есть поводы и к расстройству чувств, и к досаде — добычи у артели не было, можно считать, никакой, жратва подходила к концу, скоро возвращаться, денег не будет, и что тогда? Только-только вылезли из долгов, и опять в эту паутину?... Но пробило меня чем-то другим, как тогда, в Чёрный день, о котором велено забыть, как о страшном сне. Только забыть вот как-то не получается. Я ведь тогда Лайту из петли вынул...

Нет, лучше не вспоминать. Хотя бы не сейчас.

Князь как-то — кажется, в тот самый последний раз, когда мы с ним знатно посидели в кабачке «У моста», который держал Чувырла (после гимназии он сразу раздался в пузе, остепенился и стал вполне приличным мужичком, и заведение его было скучным, спокойным, домашним — как раз для нас с Князем: если и помашемся на кулачках, то тихо, по семейному, не на людях) — так вот, Князь сказал, что и от страха, и от чёрной хандры лучше всего помогает именно самокопание, но только не поверхностное, как будто чирей давишь, а чтобы до селезёнки, себя не жалея. Кинжал вот так наставил и спокойно вводишь. Представь, что ты уже труп... И тогда вся дрянь, что внутри накопилась,

выхлестнет — и станет легче. Страх, скажем, совсем проходит, ничего не боишься, а хандра — ну, на какое-то время. Он говорил, что у него это получается. Я пробовал потом — нет, это не для меня... да и повода особо не было. Честно. Это Князь весь свой джакч в себе таскал, а я как-то без особых заморочек всё вываливал на окружающих. До какого-то времени.

В смысле, до ареста.

Меня взяли прямо в полевом госпитале, куда Лайта буквально на себе меня доволокла — полубезумного, с неправильно сросшимися ногами, с недееспособной рукой: деревенские постарались на совесть, пригодились им навыки ручного обмолота, — взяли рано утром, я думал — опять на уколы... Вообще госпиталь, скажу я вам, произвёл на меня впечатление: всё новенькое, и такая аппаратура, какой я даже в «Горном озере» не видел, а там ведь оборудование было настоящее, довоенное. Врачи внимательные, сёстры шустрые, бельё всегда свежее, еда вкусная... как и не у нас это, а в светлых снах Поля, мир его праху... Лайта тут же устроилась, стирка-глажка — бесплатно, за еду, конечно, но выбирать-то не из чего, а главное, Кошка всегда на виду... — мы ведь Динуата мысленно похоронили тогда. Ни слова об этом не говорили, но у нас как-то так всегда получается, что друг от дружки не скроешь ничего. Иногда даже

неловкости возникали...

В общем, выволокли меня из этого тёплого места на снег, засунули в фургон и повезли в далёкое волшебное путешествие. Только через год я узнал, что и Лайту буквально следом за мной повезли.

Что интересно — не били. Вообще я долго понять не мог, чего от меня хотят. Километры бумаги исписали вопросами-ответами, а какой результат хотели получить, я так и не просёк, пока, наконец, не подняли меня однажды вежливыми пинками с нар, не побрили и не одели в свежую робу приятного для глаз цвета морского прибора (который я столько раз порывался увидеть, но так и не увидел) — да не привели в незнакомый просторный кабинет, где сидел незнакомый штатский, а начальник тюрьмы стоял возле него с таким видом, будто держал в руках невидимый поднос с хрустальным бокальчиком. Ну я, понятно, отрапортовал, что такой-то прибыл, штатский кивает начальнику, и тот на цыпочках удаляется за дверь. Опа, думаю я. Что-то новенькое... Штатский смотрит на меня и думает о чём-то своём, а я его не тороплю. Потом он наконец перестаёт пялиться и говорит: ну прямо одно и то же лицо. А поскольку никакого ответа он явно не ждёт, то я себе помалкиваю, как вор за занавеской. Встал он, обошёл меня со всех сторон, ещё головой покачал и

даже языком поцокал. Потом и говорит: вы, говорит, господин Яррик, обвиняетесь в контрреволюционном злокозненном бездействии, но Республика гуманна и приняла решение вас отпустить в обмен на кого-то там...

Вот тут я, ребята, чуть не сел там же, где стоял, ноги в вату превратились — ну, будто я в «осиное молоко» влез... то есть я тогда не знал ещё ни про «молоко», ни про всё остальное... просто ноги — в вату. Мне как раз накануне сказали, что Лайту на женском этаже держат, а где Кошка и что с ней — неизвестно.

Что-то бормочу, сам себя не понимаю, а штатский напротив меня встаёт и твёрдо так говорит: решение принято, вас с женой отвезут... и что-то ещё, а я не слышу, у меня в ушах звон и в глазах полёт искр. Что-то подписал, не видя, слёзы... нет, не было слёз, почему-то не было, наоборот — какая-то сухость, будто абразивная пыль на веках запеклась.

И да, увезли сразу куда-то, и не в «собачьем ящике», а в легковой машине — правда, с непрозрачными окнами: что-то там угадывалось за ними, свет проблесками, силуэты — в общем, мало что. И от водителя салон наглухо отгорожен, тоже ничего не видно. Ну и на руках-ногах у меня цепочки, чтобы я чего не учинил...

Долго ехали. Часов десять. С остановками —

то просто стоим и кого-то то ли ждём, то ли пропускаем (гул непонятный, не от поезда), то вывели меня: бензоколонка в чистом поле, куда ни помотришь — неброская красота родной природы: зимние раскисшие поля и тёмные скирды тут и там, да пересекающий всё это дело канал полужаросший с тонким ледком, — и при бензоколонке, как и подобает, ларёк, два столика для еды, зелёная будочка в отдалении. Сводил конвойный офицер меня к будочке, убедился, что в дырку толчка я не пролезу, но дверь всё-таки закрывать не стал — мало ли, потом с него спрос... Да, ну и перекусили лепёшками с сыром да с какой-то травкой душистой... и дальше поехали. Я всё про Лайту хотел спросить, но пересилил себя: с конвойными всегда лучше помалкивать, так и так не ответят, а слабое место своё ты перед ними приоткроешь.

Приехали наконец. Вывели меня...

Сразу я это место узнал, потому что в гимназии нам про него аж два раза рассказывали: и на истории, и на литературе. Сторожевая башня, где проходил ссыльную службу великий и непревзойдённый Верблибен. Вот она, на крутой скале, а у подножия скалы трёх дорог перекрёсток и слияние двух рек... ну, каких рек — речек. Наша Юя куда полноводнее... Мост горбатый каменный через речку, а за мостом — четыре крытых грузовика и какой-то народ толпится, а сумерки и

ничего не разглядеть.

И тут с нашей стороны подъезжает ещё одна машина, и выводят из неё Лайту — в такой же новенькой робе, как у меня, только розовой. Посмотрел я на неё, и так сердце заколотилось... и она ко мне — нет не бросилась, но вся потянулась, и конвойный, который с ней, кричит «Стоять! Нельзя!»... но тут с той стороны фарами помигали, и с Лайты тут же ножные цепочки сняли и на мост её повели, она на меня оглядывается, а я уже понимаю, что всё хорошо будет...

Я смотрю, а у меня в глазах плывёт, и хочется протереть, а не дотянуться. Кое-как вижу, что навстречу ей несколько человек проходят, а она светлым пятнышком — удаляется, удаляется... и заметалось пятнышко и исчезло вдруг. И тут с меня нижние цепочки снимают и так довольно вежливо, под локотки, ведут к мосту, и кто-то очень знакомым голосом (а может, показалось, что знакомым) наставляет: не оборачиваться, на идущих навстречу не смотреть, не задерживаться...

Ага. Так мне хочется у вас тут задержаться, вы даже не представляете.

Подводят меня к мосту и оставляют, и я топаю вперёд, а с того конца идёт человек десять военных и полицейских, и каждый в немаленьком чине, кто-то при орденах... А последним идёт майор танковых войск Точа Гюд-Фарга с рукой на

перевязи, сколько раз в одной компании на охоту ездили, а тут идёт и будто не узнаёт, только мазнул глазами да сплюнул под ноги.

И дальше пошёл.

А я как-то ничего не почувствовал, и даже если бы он мне в рожу харкнул — тоже, наверное, не сразу бы дошло. Я в этом смысле совсем непробиваемый, когда меня в шахте засыпало, я только на третий день начал нервничать, а то всё спал и спал... В общем, дошёл я до конца моста, и какие-то совершенно незнакомые люди хватают меня, обнимают и тащат, и я вдруг понимаю, что они меня от выстрела заслоняют собой. Понимаю, но ничегошеньки не чувствую. Вот как-то так.

А дальше укутывают меня в пастушью куртку толщиной в два пальца, сажают в коляску древнего, как Каменный Лес, мотоцикла, и я не вижу, где Лайта, все фары гаснут разом, и оказывается, что совсем темно, как бывает темно только в горах, я спрашиваю, где Лайта, куда дели, мне отвечают, что всё нормально, старик, надо быстро сматываться отсюда, и все оглядываются вверх и назад, но там ничего. Моментально трогаемся с треском и грохотом, никаких фар, а я знаю, что впереди такой серпантин, что и днём по нему не разгонишься. Но как-то едем, виляем вправо-влево, меня начинает укачивать не в смысле поблевать, а в смысле уснуть, и только морозный ветер в морду

бодрит.

А потом мы куда-то въезжаем, и тут видно, что — туман.

Фары, фонари, окна светятся, двери, но только сам свет и виден, а за светом ничего. И даже люди, которых много, они какие-то полурасстворённые в этом светящемся тумане. И голоса доносятся сразу отовсюду, а уж моторы...

Выбираюсь я из коляски, меня опять под локти подхватывают, будто я и не из тюрьмы вовсе, а из больницы какой, но получается, что правильно подхватывают, потому что я вижу, как Лайта — вот, в пяти шагах передо мной — обнимается с каким-то мужиком, и тут до меня доходит, что это не какой-то мужик, а я сам.

И тут этот мужик, который я, Лайту не отпуская, а левой рукой придерживая, правой тянется ко мне и орёт:

— Папка! Пап-ка-а!!!

И тут начинаю орать я...

* * *

От раздумий я совсем машинально запарил в большой кружке чаёк из местных травок, их Шалун собирает, не доверяет никому. Травки горькие, запах как у сухого пыльного рыбьего хвоста, смазанного дёгтем, но просыпаешься от них быстро

и надолго — ну и соображать начинаешь более высококачественно. Так что я полкружки выцедил, и тут до меня стало доходить, какой же я тупой...

Теперь даже не спишешь на то, что не заметил или не обратил внимания, или ещё что-то подобное. В том-то и дело, что и заметил, и обратил, но ни джакча не понял из увиденного! А увидел я вчера, возвращаясь, что на пирамидку, которой на тропе поворот обозначен, сверху кто-то положил камень. И не просто камень, а кусок белого слюдяного шпата, которого поблизости нет совсем (да потому что я сам эту пирамидку выкладывал и по окрестности для неё все камни повыковыривал, так что знаю, что тут есть, а чего нет) — но вот ровно на противоположном краю Долины, на склоне, таким шпатам выложена фигура птички зартак — то ли в честь названия долины, то ли долину когда-то в честь фигуры назвали, теперь и не узнать. И видно эту птичку в хорошую погоду с любого перевала... когда заезжаем, видим — о, птичка! — значит, всего час дороги остался.

И получается, кто-то пересёк всю долину, подал сигнал, которого я с устатку не понял, и где-то прячется? Я попробовал покругить всё так и этак. Нет, ни во что другое факты не складывались. Ничего нового из букв Ж, П, А и О сложить невозможно. Кто-то пришёл с той стороны, дал о себе знать и ждёт...

Я снова выглянул наружу и вернулся. Туман вроде как стал оседать — по крайней мере, начало тропы, два белёных известью столба, уже были видны. Идёшь обыкновенно из Долины по гати, ног нет под тобой, только жижа непросыхающего болотца хлюпает — и так глазами ищешь эти столбы, и как видишь — сразу силы откуда ни возьмись, и поноша легче, и вообще внутри всё веселеет, потому что теперь с гарантией живой — хотя бы на сегодняшний день.

Зашевелился Руг. Обычно это он вставал раньше всех и протапливал печку — обожжённая спина мёрзла, одеяло не грело. Сегодня я дал ему поспать лишний час.

Ещё я подумал, что он, наверное, знает, когда старшие решили заканчивать сезон и уходить. Обычно об этом не сообщают заранее, потому что раньше, когда сообщали, на самые последние выходы приходилось немало прижмурившихся. Нервы — они и у старателей нервы, и не хочешь, а торопиться начинаешь, ну и промахиваешься... В общем, лучше, когда возвращаешься, а матрацы скатаны и родные «бугаи» возле дома дымком попёрдывают. Перекусишь на скорую руку — и в кузов.

Руг после того, как под «утюг» попал, вечным дневальным оставался и вполне мог подслушать, о чём старшие совещались. Но ведь не скажет, гад. И

правильно, я бы тоже не сказал.

Впрочем, могли мы вполне и задержаться ещё на сколько-то дней: жратва кой-какая в подполе оставалась, а добычи доброй как и не было, так и нет, неудачный получился сезон, остаться бы при своих, не до жиру...

Я допил чай и решил прогуляться. А чего сидеть? Накинул козью куртку, шапку с ушами, взял мотоциклетные очки — хорошо глаза прикрывают от пыли да «моли» — и намордник, подпоясался потуже португеей с обвесом и тихонько вышел за дверь. Койка сзади скрипнула. Наверное, Руг что-то услышал. Ну и ладно.

Туман да, туман осел ощутимо, видимость стала вполне приличной. Я подошёл к столбам. Сильно пахло мочой — положено было тут опростаться, а потом на гать выходить, — но я же не в Долину шёл, я до пирамидки, это не в счёт.

Так что я недрогнувшей рукой взял шест из привалки — раньше, помню, шесты рубили здесь же из тонких деревьев, но выяснилось, что через сырое дерево на руки проникает чёрная ржа, потом замучаешься выводить, так что теперь привозим с собой пластиковые трубы, они и легче, и крепче — и ступил на гать. И тут же провалился по колено.

Ну да. Болотные духи могли ведь и не знать, что мне тут недалеко, только к повороту пробежаться по холодку...

Вылез, конечно. Ну, в сапог натекло. Пришлось возвращаться и из последних сил кропить столб.

* * *

Примерно на середине гати меня накрыл туман. Обычно в горах туманы холодные и влажные, почти ледяные, — а эти, из Долины, тёплые и сухие. Вроде дыма, но не дым. Впрочем, всё равно ни джакча не видать, так что мне с того, влажный он или сухой?

Я постоял, прислушиваясь. Тут тонкость-то в чём? Болото, оно дышит. А суша — нет. И в темноте, скажем, такое вот свойство болота находить направление помогает. Но вот в тумане...

Давно все знают: туманом на гати прихватит — стой на месте, ни шагу назад. Или там вперёд. Рано или поздно туман сдует, так что стой и терпи.

Тем более что в тумане, говорят, шастают какие-то неведомые твари и жалом бьют на звук — как слепые жабы-говноплюйки, только громадные и бесшумные. Так что лучше замереть и даже дышать через уши...

Но впереди прямо передо мной смутно маячило какое-то чуть различимое продолговатое пятно, похожее то ли на дерево, то ли на человека в плаще. Я сколько-то времени смотрел на него,

пытаясь понять, явь это или морок, потом решил, что явь — и потихонечку, промеряя глубину, побрёл к нему. Сердце колотилось чёрт знает отчего... чаю перепил, наверное.

И что вы думаете? Дошёл, не провалился и жабе под жало не попал. Выбрался на сухое. Пятно было деревом, увешанным ленточками и верёвочками. Ни разу я этого дерева тут не видел. На перевалах видел, это такие горские типа храмы, возле них горным духам молятся — вот эти верёвочки с узелками завязывая. Один узелок — одна просьба к духам. Некоторые верёвки как бусы болтаются, а есть такие, ну — как шторы из узелков, у Рыбиной бабки, помню, такие на всех дверях висели — то ли от духов, то ли от мух, тогда спросить боялся, а теперь и не у кого...

Эх, Рыбонька. Как же ты так?

Не было здесь этого дерева, а теперь появилось. Впрочем, здесь ведь край Долины. В Долине и не такое бывает.

Впрочем, тропа должна оставаться всегда. Это деревья и скалы могут прыгать туда-сюда, а то, что под ногами — неизменно... нет, как-то другими словами у великого и непревзойдённого было написано, но по сути так...

Я пошёл влево и шагов через двадцать действительно ступил на утопанную землю. Оглянулся. Дерево, разумеется, исчезло.

Долина. Ничему тут нельзя верить, и в первую очередь глазам. Особенно когда туман.

По доброму, шест надо было оставить здесь, у пустующей привалочки, но я зачем-то прихватил его с собой. Шёл, вперясь в тропу и стараясь по сторонам не смотреть — мало ли что можно там, в тумане, увидеть... До пирамидки было триста шестьдесят шагов, и на трёхстах сорока я остановился.

Нет, пирамидка была на месте, где ей и положено. Но камень кто-то убрал.

По-хорошему, надо было тихонечко пятиться назад, потом поворачиваться и дуть к гати со всей возможной прытью. Потому что это была непонятка, а от непоняток в Долине надо всегда держаться как можно дальше, а особенно в последние дни сезона. Но я почему-то не попятился. Стоял наподобие памятника забытому часовому на перевале Тиц, опершись на свой шест, как тот — на своё копьё... но того-то через сто лет разморозили, а что со мной будет, только горным духам ведомо...

А потом по ту сторону пирамидки туман сплёлся в тень, и тень эта стала медленно приближаться. И я понял, что обычай кропить столбик имеет большое практическое значение.

Тень, видимо, считала примерно так же. Потому что, поравнявшись с пирамидкой и почти

став человеком, остановилась и, как мне показалось, стала искать у себя карман. Но нет, это просто был слишком глубокий карман. Потом тень присела и стала шарить по земле, подобрала белый камень, положила его на пирамидку, сверху положила ещё один. И, скособочившись, повернулась, чтобы уйти.

— Постой, — сказал я. — Ты кто?

Тень пригнулась, как от выстрела, и я догадался, что меня она до этого момента не видела и не слышала. Научился я бесшумно ходить, было дело...

Да, тень пригнулась, но не убежала. Наоборот, распрямилась и стала ждать.

Ну и ладно, подумал я и пошёл к пирамидке. Скорее всего, это человек, и не похоже, что горец. И не наш. Какой-нибудь беглый пандеец... или партизан — всё по горам блуждает да мосты рвёт... Я подходил, а он всё распрямлялся и распрямлялся.

Мужик. Выше меня, но в плечах поуже. Стёганая куртка на репейном пуху и такие же штаны. Резиновые сапоги с закатанными голенищами. На голове бесформенная шапка с торчащими ушами и скатанная в рулон многослойная противокмаринка. Из-под рулона видны... глаза? нет, глубокие ямы там вместо глаз... а под глазами выпирающие чёрные скулы и втянутые щёки с седой щетиной, губ нет, щель

вместо рта... и где-то я всё это видел...

Но он узнал меня раньше. На секунду, но раньше. Наверное, я не так изменился.

— С-с-с... — начал он, и я уже знал, что он скажет. — С-сыночек?

— Князь... твою светлость... Как?!

Он молча содрал шапку, бухнул её под ноги, перешагнул — и мы обнялись. Долго, крепко, молча.

Не знаю, что там Князь думал про меня — а я был уверен как соль солонина, что мой сводный брат и названный шурин уже года три мертвее мёртвого...

* * *

Это было последнее лето Маленькой Империи. Нас щемили со всех сторон, перекрывая дороги, отжимая от плодородных долин в голодные и холодные горы; а там, в горах, где спокойно выживали пастухи и охотники — когда от одного к другому полдня верхом, — даже роте солдат, размещённых купно, было не прокормиться. А уж наша-то армия, да с обозом... Копали корешки, ловили змей... всё шло в котёл. Но рано или поздно приходилось кому-то идти за продовольствием вниз.

Внизу всегда ждали. Может быть,

солдат-республиканцев кто-то предупреждал. Может быть, они ухитрились тупо оседлать все козьи тропы. Не знаю. Но не было случая, чтобы наши фуражиры не наткнулись на заставу.

Другое дело, что чаще они заставу эту сбивали и шли дальше. И возвращались. Не всегда, но возвращались. Потери были немалые, каждый мешок муки или там земляных яблок был полит кровью. Иной раз — в прямом смысле.

Солдатам-то республиканским — им за что умирать было? А наши везли хлеб для своих семей. Тут сам мёртвый будешь мёртвых кобыл понукать...

Тяжко было в нашем обозе. Ну, взрослые — понятно, никто их силком не тащил и плетюгами не гнал, все добровольцы. А детям-то как объяснишь, отчего жрать раз в день дают — супчик змеиный с какими-то зёрнышками да лепёхи кусок непонятно из чего? В холоде закваска не бродит, тесто не всходит, то, что из печки вынуто, тут же и каменеет... потом наловчились тонкие пресные лепёшки печь на броневых щитах, всё равно от них в горах проку другого не было. Дурацкая была идея с этими щитами, сколько сил и денег в них вбили...

Да много чего дурацкого произошло. Во что ни ткни, вроде как умную вещь сотворили, а смотришь потом — какой идиот до такого допёр? Ах, это я сам... ну да, бывает...

Вообще-то меня к решениям не допускали — может, и правильно делали, я человек с просолёнными мозгами, а значит простой и склонный к простым решениям. Не то что наши стратеги, плетельщики кружев. С одной стороны, конечно, тяжело одной жопой затыкать дюжину дырок, с другой — ну надо же иногда от карт генштабовских отрываться и по сторонам смотреть детским любознательным взглядом. Тогда бы не придумали хитрого плана: выйти из Бешпоуна, как будто бы оставив там все запасы — чтобы республиканская дивизия туда рванула, а мы бы раз, и обе дороги перекрыли, а запасов-то на самом деле никаких нет, пустышки — ну и бери республиканцев тёпленькими... Ага. Только всё не так вышло. И запасы, которые загодя и скрытно надо было вывезти, не вывезли, потому что республиканское подполье, оказывается, под носом нашей контрразведки самозародилось, оно-то и засаботировало вхлам все усилия (а я так думаю, что не подполье это было, а свои долбоклювы), и железку перерезать не удалось, потому что два бронепоезда, которые у нас считались не на ходу и разоружёнными (стояли в депо под брезентом), вдруг оказались и при пулемётах, и на ходу, да так на ходу, что... в общем, не перерезали мы железку. Мало кто вообще оттуда невредимым вернулся. Вот это точно подполье сработало, а вернее, диверсанты

— ведь своих железнодорожников в Бештоуне не осталось ни единого человека, всех прислали из центра во времена комиссара Грамену...

Так мы потеряли и Бештоун, и всякие надежды на наступление и на победу. Но целый год мы ещё держались в Межгорье, потому что фермеры и крестьяне были за Императора и против комиссаров — пока мы их не объели по-настоящему. Тогда они стали за Республику. Ну или нейтральными. Типа, мы за вас, но деньги вперёд.

И нам пришлось уходить в горы. А потом настала пора решать, что делать дальше, потому что бороться с голодом уже не было сил.

Динуат — сына я здесь всегда называл полным именем, в отличие от Князя, которого по имени почти и не величал теперь, — велел мне быть на этом совещании. И Лайте. Лайта теперь была такая всеобщая мать. Она вся чёрная стала от чужого горя, а по-другому просто не могла. Она бы, мне кажется, от себя бы куски отрезала и ребятишек кормила...

В общем, пришли мы и послушали умных людей.

Мнений, если лишние слова убрать, было три. Первое — это женщин и детей отправить в плен, а самим биться до конца, сохранив честь Короны. Второе — пробираться в Пандею, в конце концов

они нам обещали помощь (много чего обещали, ничего не сделали). Третье — уходить на восточное побережье и там искать контакт с архами. Ах да, было ещё и четвёртое: рассыпаться мелкими группами, а там как пойдёт.

Так оно почти и получилось в конечном итоге, но не по плану, а само собой...

А тогда всё решал генерал Дорд. Ему было за семьдесят, и был он когда-то адъютантом принца Гуаха, главнокомандующего сухопутными силами Империи. О победах принца мало что известно военным историкам, да и адъютантская должность не подразумевает оперативно-тактических талантов — однако же генерал благополучно пережил и Вторую кидонскую войну, и Революцию Отцов, и правление Отцов, и Бессмертную Революцию — ту, что была недавно. И даже при Республике был обласкан и помещён на трон начальника Академии Генштаба — откуда внезапно, под влиянием нахлынувших верноподданнических чувств, сорвался и прибыл в наш взбунтовавшийся край во главе отряда из двенадцати слушателей Академии в чинах от майора и выше.

С тех пор у нас всё пошло враздрай...

Единственное действие, на которое решились господа офицеры — это послать маленький отряд на побережье для установления контактов с островитянами. Командиром отряда назначили

Князя.

Мы с ним только парой слов ухитрились тогда перекинуться, торопился он очень. Я: пусть, мол, вам соли на дорогу хватит — а он: ты Лайту береги, Сыночек, вернись, проверю... ткнули друг друга кулаком в плечо и разбежались. И всё, ушёл отряд — одиннадцать штыков — к побережью и как канул, ни единой весточки...

И вот теперь я стою и обнимаю эту тощую скотину, эту змеюку пандейскую, этого крокодила вонючего — и молча реву, и ничего не могу с собой сделать.

Князь

Когда я понял, что не обознался и что действительно видел Чака, причём Чака здорового, в уме (с поправкой, конечно, на избыток соли в мозгах, но это неизбежно на нашей малой родине) и, возможно, твёрдой памяти — меня затрясло. Меня так трясло только раз: когда я примчался в расположение роты и увидел, что в живых не осталось никого. Я тогда ещё не знал, что и с городом то же самое. А когда узнал, что то же самое и с городом, то решил, что и со всем миром...

Я второй раз в жизни попытался застрелиться, и второй раз пистолет дал осечку.

Больше я никогда не пробовал, хотя поводы

были.

Трясло меня, конечно, в основном от слабости и нервного истощения, да ещё от промозглого холода. Ну не от надежды же? На что тут надеяться — что старатели со дня на день свалят, а какая-то еда в доме останется, и мне хватит её, чтобы восстановить силы, а потом пройти через перевалы... и что?

И всё.

Я был в чём-то подобен Печальному Принцу после всех его странствий, только ключик-то у меня в руках был настоящий, а вот Фея Часов с последним ударом гонга превратилась в кукушку... Нет, я, конечно, дойду до обитаемых мест, соблазню молодую вдову-фермершу, отъемся и отопьюсь до нормальных кондиций — но дальше-то что? Хорошо, легализуюсь. Даже если меня возьмут, то не факт, что вернут обратно в «Птичку», всё же там я проходил под другим именем, а узнать меня сейчас даже родной названный брат, он же зять, не узнает (и вот тут я ошибся!). Всё это достижимо. Дальше-то что? Что мне делать с тем, что у меня в голове?

Похоже, что истинная роль моя в той бессмертной опере «Печальный Принц» — прорицатель Зуда, который давал абсолютно верные, но никому не нужные предсказания...

Так что посмотрел я вслед уходящим

старателям, потом положил второй белый камень поверх первого и побрёл к яме. Надо было постараться пережить и эту ночь.

Эхи не спал. Огонь в очажке теплился, голубоватый, бездымный. Я надвинул на яму крышку — разлапистый сук с накиданной на него травой и листьями, — и сразу стало тесно. Эхи молча подвинулся, отдавая мне место у очага. Я прилёг, согнув колени и закинув руки за голову. Эхи подал мне сухарь. Сухарь был размером и формой с большой палец — ну, чуть побольше. Один из последних. Мы всё-таки рассчитывали, что будем двигаться намного быстрее.

— Итак? — спросил он своим петушиным голосом.

— Завтра всё будем знать, — сказал я. Мне не хотелось его обнадеживать — в вдруг зря?

— Но что-то ведь было? — как и раньше, он был проникателен.

— Ну, что... Старатели шли почти пустые. Мне показалось, что одного из них я знаю.

— Это хорошо или плохо?

— Ну... наверное, хорошо. Но судя по тому, что он оказался тут — всё остальное плохо.

— Он учёный?

— Нет. Больше не спрашивай. Завтра всё выясним.

Эхи издал какой-то полузадушенный звук, я

покоился — глаза у него закатились, щека подёргивалась. Раньше бы я испугался, но долгое совместное путешествие дало мне много бесполезных сведений о моём спутнике. Это он так засыпал.

Я наскрёб под очажком ещё горсть щепок, бросил их в огонь. Сначала померкло, потом разгорелось. Дымок пополз по стенке ямы, распластался под крышкой, всосался в щели. Я сунул в рот сухарь, стал сосать его медленно, растягивая процесс. Потом нашарил в кармане две сушёные яголки-пистонки. Говорят, они в огромной цене у столичных модниц — убивают чувство голода. Скоро узнаем, так ли это — яголки последние. Я посмотрел на них и сунул обратно в карман.

В «Птичке» есть хотелось постоянно. Там кормили — не сказать чтобы досыта, но и впроголодь не держали. Но все разговоры почему-то были об еде. Кто как и где ел, названия блюд, размеры порций, имена знаменитых поваров и кулинаров; кто и когда закатывал званые обеды-ужины, какие выпивались вина и сжирались закуски... и потом всех пробивало на сладкое, и начинались воспоминания о тортах, пирожных, пирогах с ягодами, пирогах со сладким сыром, о взбитых сливках, о ликёрах... Наконец, измученные, все падали по койкам и засыпали. А в

побеге нас с Эхи эти голодные психозы не посещали совсем, хотя питались мы исключительно сухарями да корешками с личинками — вот хорошо нас готовили на курсах, сколько лет прошло, а я всё помню: что можно есть, что нельзя, где брать, как обрабатывать...

Если бы не горы да не подступающая зима — заботы бы не знал. Отъелись бы мы на червячках, на здоровой белковой пище. Эхи, правда, поначалу капризничал...

До сих пор не знаю, правильно ли я сделал, что потащил и вот ташу его с собой. С другой стороны, без меня он в «Птичке» не выжил бы — многие там островитян ненавидели пуще, чем конвойных. А рано или поздно они узнали бы, что Эхи — чистокровный архи.

Да ещё и научный офицер в чине майора.

Про островитянскую науку у нас ходит множество самых чёрных историй. Надо сказать, что всё это — правда. Более того, многого у нас ещё просто не знают...

Потом я уснул, спал тяжело и мутно, проснулся, вылез из ямы — и потопал к пирамидке. С совершенно пустой головой, низачем — на автомате. Даже подумал было, что я продолжаю спать, а это мне снится. И я — не совсем я, а кто-то слегка посторонний. Вот и камешек свалился... я положил его на место, а потом почему-то решил,

что в кармане у меня заваялся ещё один, откуда он мог там взяться, я полез проверять и правда — небольшой такой... Поэтому, когда на меня из тумана стало надвигаться нечто квадратное и лохматое, я совсем не подумал про Чаки. Ну да, вчера я его вроде бы видел... вроде бы его... но какое это имеет отношение?... — ну и так далее. И только когда он меня облапил, до меня стало доходить, что это, пожалуй, всё так и есть — он, я, край Долины... и мы почему-то живые оба...

* * *

—...Нет, туда мы дошли, можно сказать, по ковру — дней за двадцать всего. Перевалы открытые, небо чистое. Ну и — безлюдье. Там вообще даже трава не растёт. С горных лугов спускаться начинаешь, и всё — сплошная каменная крошка. То есть я читал, что там вот такое побережье и есть, и всегда оно такое было, но когда своими глазами видишь — ну очень жутко. Я половину отряда оставил на высоте: во-первых, чтобы охотились, кроме коз там жрать нечего, а во-вторых, если с нами что случится, так было кому увидеть, вернуться и доложить. Ну а сам с четырьмя бойцами спустился к воде...

Я вернул Чаку его трубочку. С отвычки голова у меня стала совсем лёгкой и закружилась.

Да и курил Чак такую забористую смесь, что выдохом можно было двери высаживать.

— Побродили мы по берегу... Слушай, столько всяких обломков там — я даже не представляю, от чего столько может быть обломков! Дерево, пластик, какая-то пена каменная... и кости здоровенные, ну как ящеров древних, помнишь кино? И вот волны накатывают, и это всё с шуршанием — вверх-вниз, вверх-вниз... а ночью мерещится — кто-то идёт по щебню... Ну и никаких Белых Субмарин, понятно, нет.

Чак ещё раз задумчиво похлопал себя по карманам, будто ожидал, что там самозародится фляжка со шнапсом или ломоть прессованного окорока по-пандейски: с орехами и пряными травами. Пандейцы засаливают мясо между двумя дубовыми досками, под гнётом, потом вялят на сквозняке... я мотнул головой, отгоняя наваждение; начнёшь думать об еде и всё, не сможешь соскочить с крючка...

— Мы проторчали на месте две недели, жгли костры из плавника, дыму было... Потом решили сходить на юг, ребята как раз с гор спустились, принесли много мяса. И тут появился самолёт. Не такой, как в «Принце Кирну», а... как будто ракета с крыльями. И звук от него — то ли свист, то ли шелест. Но я сразу понял, что это самолёт. Прошёл он над нами сначала высоко, потом вернулся — уже

сильно ниже. А потом вижу — он над самой водой к берегу летит и так как бы раскрывается снизу, и получается лодка с крыльями. И, понимаешь, садится прямо на воду. Брызги... В небе был, казался не очень большим, а тут на воде — как корабль. Две лодки откуда-то выпрыгнули, пошли к берегу. Я звено бойцов отправил в скалы прятаться, а остальных выстроил парадной шеренгой — ждём. Ребята, конечно, очко зажали, но держатся хорошо. Эти подплывают и начинают выгружаться, нас в упор не видят. Тюки вынесли какие-то, площадку ровную расчистили, быстренько шатёр поставили. Мы стоим, как дурни с помытыми шеями. Потом выходит из шатра длинный такой, весь в белом, белая фуражка с крестом. И с ним ещё один, тоже в белом, но маленький, в очках. И они к нам идут. Я команду «на караул!», честь отдаю, длинный мне тоже козыряет, я представляюсь, мол, полковник Императорской Гвардии Лобату, ищу встречи с представителями Островной Империи. Он тоже козыряет, фрегат-капитан как-то-его-там, и приглашает в шатёр для переговоров. А маленький пристально так очёчками круглыми смотрит, и я вдруг понимаю, что он здесь главнее, но прячется в туман... Я тебя не утомил? Меня, кажется, с твоего курева на болтовню прожгло.

Чак помотал головой. С его лицом происходило что-то необычное: правая половина

будто застыла, а левая кривилась в гримасе, и я испугался, не случился ли с моим другом удар? Но вроде нет — он обхватил лицо руками, что-то пальцами крепко поправил и уставился на меня поверх впившихся в скулы пальцев круглыми глазами без ресниц.

— Я посчитал, — сказал он. — Мы как раз в этот день на прорыв пошли. Сил уже не было...

Конечно, он не хотел укорить меня, ничего такого в виду не имел, а просто вспомнил тот ужас... я знал об этом прорыве в достаточных подробностях, в «Птичке» же сидели в основном бывшие офицеры Маленькой Империи — не гвардейские, а армейские, они меня не видели раньше, а если кто-то и видел, то промолчал, — но меня Чаково «сил уже не было» прошило насквозь, и хоть не было моей вины ни в чём, даже наткнись мы на архи в тот же миг, как вышли на берег, ничего бы не изменилось, потому что у них не было ни малейших намерений спасти нас... в общем, я почему-то испытал сильнейший ожог стыдом, который был мною совсем не заслужен, но я его испытал...

Армия спускалась с гор пятью колоннами, по разным тропам — впереди шли гвардейцы, потом солдаты, потом мирные. Республиканцы поставили артиллерию на прямую наводку и били шрапнелью. Когда пушки удалось захватить, в строю остался

только каждый третий. А когда наши вышли из ущелий, появились танки. Много танков.

Вроде бы кто-то видел, как Динуата, наводившего трофейную пушку, разнесло в клочки ударившим под щит снарядом. Никто не ушёл с того поля — разве что несколько сот мирных, затаившихся в ущелье. В плен из армии попало человек шестьсот, почти все раненые. Из Гварди — ни одного.

Вернее, только я. Хотя позже и в другом месте, но всё же...

Я встал, покачнулся. Слишком резко встал. В глазах потемнело. Пришлось ждать, согнувшись и упершись руками в колени, пока темнота не рассеется. Чак, кажется, этого не заметил.

Вода в котелке дымилась. Я убрал его с огня и бросил в воду горсть «чая» — измельчённый древесный гриб. Говорят, он даже полезный.

Пусть постоит.

Эхи всё не выбирался из ямы, я заглянул — он лежал в позе зародыша. Что-то мне не понравилось, я спустился в яму, тронул его за плечо, потормошил. Эхи не реагировал. Я оттянул ему веко. Глаз закатился. Живой...

— Чаки!

Вдвоём мы выволокли Эхи из ямы. Почему-то он казался очень тяжёлым.

— Кто это? — спросил Чак.

— Один архи, — сказал я и посмотрел на Чака. — Тоже мой друг.

— Умеешь ты выбирать друзей, — буркнул он.

— Ну, тебя-то я не выбирал, — сказал я. — Назначили.

— А в глаз? — спросил Чаки.

— А потом обоих потащишь?

Он посмотрел на меня, на Эхи, снова на меня.

— Уговорил, — и противно, в своей старой манере, хрюкнул. — Хочешь сказать, что его нужно тащить?

— Да желательно бы, — сказал я. — Он меня тащил.

— Этот шибзд? — не поверил Чак.

— Угу. Потом расскажу...

Мне надо было сесть, а лучше лечь. Но сначала чаю...

* * *

Наконец решили так: Чак несёт на плечах Эхи, а я иду впереди с шестом и прокладываю дорогу по болоту. Я хотел было сказать, что при моём-то нынешнем весе я везде пройду, а Чак с ношей провалится где-нибудь на сгнившем бревне, — но не стал. Кто-то должен нести, а кто-то — прощупывать путь, и другого не дано. Нести я не

мог, так что...

Всё, однако, закончилось благополучно — я как нацелился на белые брёвна на том берегу, так и шёл, не сбиваясь. Ну да, два раза провалился повыше колена, но вылез сам, так что это не в счёт. Наконец мы выбрались на твёрдое.

Я сказал «закончилось благополучно»? Извините, соврал...

Когда шлёпали по грязи, это сдвоенное «чвак-чвак, чвак-чвак, чвак-чвак» не давало понять, что вокруг очень уж тихо. И потом ещё с минуту — пока аккуратно располагали на земле Эхи, пока удостоверяться, что он живой, пока что-то говорили друг другу, пока наконец сердце не перестало колотиться в уши...

Первым неладное почуял Чаки.

— Тихо... — сказал он.

Я подумал, что это команда, и на всякий случай пригнулся.

— Непонятно... и нехорошо...

— Что?

— Я же говорю — тихо вокруг. Не должно...

Слушай.

Я стал слушать и понял, что да, действительно — как-то ненормально тихо. Даже птицы молчали, а на той стороне болота их было хорошо слышно.

— Князь...

— Да?

— Пусть этот тут полежат, а мы с тобой сходим посмотрим...

Я посмотрел на Эхи. Тот уже не выглядел мёртвым, а выглядел спящим.

— Тэ-тэ, — сказал я.

— Что?

— Так точно. Сейчас пойдём. Только...

Я развязал наш вещмешок, вытряхнул из него всё. Взял нужный свёрток, развернул.

— Тебе или мне?

Чак скользнул взглядом по револьверу.

— Неужели тот самый?

— Нет, просто похож.

— Тебе.

Я сунул пандейский револьверчик, действительно похожий на «ибойку», с которой прошло и закончилось наше детство, в карман. Этот хотя бы стрелял нормально, и на расстоянии вытянутой руки из него можно было попасть в тыкву... Чак шёл вперёд, пригибаясь и держась края тропы.

Я последовал за ним — держась другого края.

Дом, в котором жили старатели, был очень стар и явно знал лучшие времена. Сейчас невозможно было понять, чем он был раньше. Наверное, какой-то факторией. Здесь торговали с горцами. Вокруг дома торчали остатки частокола — надо полагать, постепенно разбираемого на дрова:

вон и поленница сложена, и летняя печь стоит под навесом. Там, где частокол когда-то замыкался, стояла рамина ворот; на перекладине смутно угадывалась какая-то надпись. Через ворота проходила утоптанная тропа. У той части дома, которая, похоже, в лучшие времена была складом, просела крыша, половина дощатой кровли то ли провалилась, то ли её сдуло ветром. Жилую часть поддерживали в порядке, белили известью, но от старости она несколько перекосилась и вросла в землю по самый верх фундамента. Из трубы шёл легкий дымок. Дверь была приоткрыта.

На полпути от дома к воротам лицом вниз лежал человек. Он лежал так просто и естественно, что казался неотъемлемой частью ландшафта.

Наверное, Чак тоже именно так всё это воспринял, потому что притормозил и дёрнулся только тогда, когда почти поравнялся с телом. Я догнал его и встал рядом, держа револьвер в опущенной руке и положив большой палец на спицу курка.

— Кто это? — спросил я.

— Руг, — тихо сказал Чак. — Дневальный.

Он присел и, не отрывая взгляда от двери дома, перевернул тело на спину. Человека был несомненно мёртв, и мёртв совсем недавно. Я быстро посмотрел на него. На свитере напротив сердца расплылось небольшое чёрное пятно. Один

точный профессиональный удар...

Не вставая, Чак метнулся к поленнице. Я знал, что этот увалень быстр, но не думал, что до такой степени. Там он замер на несколько секунд, потом не распрямляясь, почти на четвереньках, рванул к дому. В правой руке его вдруг оказался топор. Я тоже побежал к дому, заходя с другой стороны.

Не было никаких других звуков, кроме тех, что производились нами.

Дверь, как это принято в горских домах, открывалась внутрь. Я сделал знак Чаку, чтобы он замер, и он замер. Потом я показал, что я пойду первым, а Чак будет меня прикрывать. Он понял и кивнул. А я сообразил, что забыл, как надо входить в дом. В смысле, без гранаты. Сначала идёт граната, потомходишь ты. Гранаты у меня не было, и я впал в ступор. Ненадолго, на пару секунд.

Изнутри дома не доносилось ни звука. Зато отчётливо тянуло свежим дерьмом и кровью.

Надо было входить.

Держа револьвер стволом вверх, я вкатился внутрь, привстал на колени, кругнулся назад — если вдруг кто-то притаился за дверью. Но нет, не было никого.

В смысле — никого живого...

— Чак, — позвал я.

Стало темнее. Чак остановился в двери. Потом я услышал, как он судорожно вздохнул.

В доме стояло пять железных двухъярусных коек — таких же, как в казармах, только в казармах их ставят изголовьем к стенке, а здесь они стояли к стенке боком. На четырёх нижних полках в неправильных позах врасплох застигнутых смертью — лежали люди. С верхних или успели спрыгнуть, или их стащили... это ещё три трупа на полу. Тех, кто на койках, я думаю, закололи беззвучно. Со спрыгнувшими не стеснялись и располосовали от души.

Стараясь не ступить в лужи, я бочком подобрался к окну и сдвинул ставню. Она отъехала со скрипом, впуская красноватый свет позднего утра.

Позади Чак что-то пробормотал. Я повернулся к нему. Его лицо меня напугало больше, чем все покойники. Оно было отрешённым и совсем детским, разгладились все морщинки, рот приоткрылся, глаза смотрели куда-то сквозь всё. Я приобнял Чака за плечо и вывел его наружу.

Там его стало рвать.

* * *

Собственно, не надо быть кидонским мудрецом, чтобы понять, что здесь произошло. Какая-то мелкая банда хищников подобралась беззвучно и перебила старателей, чтобы завладеть

добычей. Надо полагать, среди старателей был и член банды — девятое тело мы не обнаружили нигде. Теоретически можно было бы предположить, что он в одиночку справился со всеми товарищами, но тогда непонятно, как он вынес полтораста килограммов «пушнины» — не только взвалил на себя, но и поволок через два перевала...

Конечно, надо было что-то решать, что-то делать, но я чувствовал полнейшее опустошение внутри. Не столько физическое, сколько моральное. Все силы ушли на то, чтобы добраться сюда, и вот вам.

Наверное, поэтому Чак взял себя в руки значительно раньше меня.

Во-первых, он заглянул в кладовую. Припасы хищники не тронули. Хоть что-то хорошее должно было случиться. Во-вторых, сходил за Эхи и перенёс его сюда поближе. Эхи уже был розовый и дышал как надо, только не просыпался. В-третьих, он начал копать могилу. Почва была мягкая, почти чистый песок, и дело шло быстро.

Я занялся тем, чем мог: развёл в летней печи огонь, поставил чайник и два ведра с водой. Без чая я пропаду. Потом подумал и ещё в отдельной кастрюльке поставил греться воду для похлёбки.

За это время Чак углубился в землю почти по пояс.

Я сварил суп. То есть как сварил: вывалил в

кипяток банку гороховой каши с мясом. Мы с Чаком молча его похлебали. Чак пошёл дорывать могилу, а я оставшийся бульон по ложечке выпоил Эхи. Бульон он выпил, но продолжал спать.

Потом я прибрал покойников. Сильно порезанных завернул в одеяла и в непромокайку, остальных просто сложил в позе эмбрионов и зафиксировал тесьмой. Трупы начинало схватывать окоченением. Время оказалось сильно послеобеденное, я и не заметил, как оно прошло.

Пришёл Чак, весь чёрный — под песком оказалась графитная глина. Мы стали выносить покойников и складывать их на краю ямы. Принесли всех и сели покурить. У меня опять закружилась голова, ещё сильнее, чем утром. Чак понял это по-своему и сходил за шнапсом.

Мы сложили убитых в могилу — удивительно, но они поместились как раз, и втискивать не пришлось, и свободного места не осталось, — Чак постоял с закрытыми глазами, шевеля губами совершенно беззвучно, и мы в две лопаты забросали тела землёй. Уже темнело.

Ещё час мы потратили на уборку дома. Я выносил окровавленные и грязные тряпки и бросал их в костёр, а Чак горячей водой с песком оттирал пол и стену. Потом мы закончили и это дело, я набил печку дровами, затопил...

Мы сели на крылечке и, открыв ещё одну

банку консервов — на этот раз это было чистое мясо, — помянули убиенных. Я охмелел почти сразу — не столько, наверное, от шнапса, сколько от сытости. И ведь нельзя сказать, что в «Птичке» нас держали впроголодь, нет... но это было как первые полгода в армии, например: всё время хочется жрать. Жрать и спать. Хотя и того и другого отпускают строго по науке. А потом вдруг оказывается, что нормы тебе этой не просто хватает, а даже остаётся какой-то избыток. Наверное, и на второй год в «Птичке» мне начало бы так казаться...

Но я бы точно не протянул там не то что год — пару месяцев. Всё, край подступил.

Помню, как мы с Чаком сидели, обнявшись, и тянули «Горную стражу». Потом к нам подсел Эхи, зацепил ножом кусок мяса, запил его шнапсом, стал подпевать. Слов он не знал, но зато хорошо попадал в мелодию, просто мыча.

Я понял, что теперь Чак не пропадёт, и потащился в дом искать себе нору. Ближайшая койка бросилась на меня, я обхватил её руками и повис. Верх и низ менялись местами, и мозг мой бурлил, рождая великие картины, но я не в силах был их рассматривать...

Мне приснилась «Птичка», барак номер четыре, моя койка в углу за занавеской — как десятнику мне полагалась эта привилегия, — и что

утро, и надо выходить, но кто-то нагадил мне в ботинки... — всё это было так ярко и выпукло, с шершавыми прикосновениями одеяла и всевозможными запахами, что я понял, что весь мой побег, путь через Долину, встреча с Чаком и всё-всё, что было потом, мне только приснились, а сейчас будет рутинный поход за «пушниной», и если десятка не выполнит план по баллам, всем срежут пайку, которая хотя и просчитана научно, но не насыщает — скорее всего потому, что повара отъедают от неё краюшку... в общем, много чего приснилось такого, что вогнало меня в отчаяние, и да — я снова проснулся.

Дико колотилось сердце.

Печь прогорела, в доме было почти холодно. Я встал. Покажется странным, но голова была совершенно ясная. Кто-то снял с меня ботинки. Пришлось обуваться. Чак и Эхи спали на верхних койках, это они молодцы... там теплее, и там никто не умер. За дверью было светло от нетронутого только что выпавшего снега. Я пошёл было направо, но сообразил, что там могила. Пошёл налево и нашёл подходящее дерево. Пока я его поливал, увидел цепочку следов. Несколько собак или волков пробежали со стороны перевала к болоту. Они бежали почти след в след.

Я вернулся, заново растопил печь, попил чуть тёплого чая из чайника, прилёг. Возвращаться в сон

категорически не хотелось.

Но организм не стал меня спрашивать...

Рыба

Опорный лагерь экспедиции развернули в брошенном горском поселении, которое на карте было отмечено названием Казл-Ду, что не лезло ни в какие ворота, поскольку это означало «глубокая яма», в то время как поселение стояло на высоком берегу. Я и раньше обращала внимание, что на картах горские названия перевернаны или перепутаны, а вот намеренно это делалось или по разгильдяйству — тут были разные мнения. Бабка, помню, рассказывала, что горцы иногда дают мужские имена девочкам, чтобы сбить с толку злых духов — может быть, так же и с названиями?

Ладно, как оно ни называйся — а крыша над головой и стены против ветра у нас теперь были; всё остальное приложится. Солдаты из приданной команды ставили лёгкие столбы и тянули провода, рабочие таскали мебель и доски, лаборанты — контейнеры с оборудованием и приборами. До моих ещё не дошла очередь, и я бродила неприкаянной тенью, заодно постигая топографию здешних мест.

Круглые, похожие на опрокинутые стаканы, дома из дикого неотёсанного камня, склеенного белой глиной пополам с известью, стояли на этом

месте со времён доисторических, но от холода не спасали — в них было более зябко, чем снаружи под ветром и пролетающим горизонтальным дождём. Я выбрала себе башенку на самом обрыве, тесную, но на вид целую и, возможно, с уцелевшим отоплением — то есть печкой в подвале и горячими трубами под полом и внутри каменных лежанок. На дрова я не рассчитывала, но поставить в топке соляровую горелку — почему бы нет? Будет тепло...

Мы тащились сюда почти неделю, особенно тяжело было последние три дня, когда дорога пошла по горам. Один тягач рухнул с обрыва — к счастью, солдат-водитель успел выскочить. Никогда не думала, что на двадцать человек нужна такая гора движущегося железа.

Генерал Шпресс показал себя неплохим организатором при подготовке, но в походе как-то отошёл в сумрак, и всем руководил его зам, майор Клорш, который к науке отношения не имел, а только и исключительно к интендантской службе. Интендантов спокон веков положено считать ворами — не знаю, крал ли Клорш или не крал, но вот то, что у него всё двигалось как положено и ничего не терялось при переходах — это я свидетельствую. И вроде бы всё доехало до цели, где уже сустились квартирьеры... В общем, я за эти дни стала лучше думать об интендантах.

На двадцать учёных — ладно, научных работников — приходилось сто шестьдесят военных и сорок пять разнорабочих, набранных на бирже; среди них попадались странные типы.

От опорного лагеря к доступным местам в Долине было ещё где два, а где двадцать километров по разным дорогам и тропам — трём более или менее проходимым и двум таким, что лучше бы их и не было вовсе. Пройти самим и провести пару вьючных ослов.

Ослов, впрочем, ещё не пригнали...

Долина Зартак лежала на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря и на карте напоминала изуродованную кисть руки с сильно отставленным толстым большим пальцем, с феноменально длинными указательным и средним — и обрубленными мизинцем и безымянным. С севера на юг она протянулась на сто двадцать километров, с востока на запад — на сорок пять. Вероятно, когда-то не так давно она была дном озера или морского залива, потому что в песке в изобилии попадались ракушки, иногда даже неповреждённые. Но нас, разумеется, интересовали не ископаемые ракушки, а «Хиэшпар-Йачх», то есть «Дивное место» по-горски, или «Область Отклонений», как подобную территорию именовали в научных трудах ещё со времён императора Цаха. Насколько я знаю, это самое

древнее из известных Дивных мест — в тысячелетней давности горских могилах, раскопанных для научных целей, находили предметы оттуда. Множество легенд существует о том, что некую богатую гробницу раскопали, и тут же ни с того ни с сего началась Первая Кидонская война...

Всё может быть, скажу я как внучка своей бабки. Всё может быть...

В Долине находили удивительные предметы, обладающие непонятными возможностями. Долина временами была смертельно опасна для находящихся в ней, а временами пропускала всех и даже излечивала от болезней. Иногда из неё выходили странные животные, а иногда, говорят, и люди. Возможно, и наш Польш пришёл отсюда, не знаю. Потому что господин советник мне соврал, и вот это я знаю точно. Знала уж тогда, когда шёл наш с ним самый первый разговор...

Как давно это было. Несколько жизней назад.

Говорят, советник активно участвовал в Бессмертной Революции (после которой начались кровопролитнейшие гражданские войны по всей стране), что-то там возглавлял — а потом бесследно исчез. Об этом я узнала, когда вышла на свободу — без жилья, без денег, без работы, без родных, с изуродованным лицом и без малейших надежд хоть на какой-то просвет, — вышла и от отчаяния

решила позвонить по тому номеру, который он мне велел зазубрить и по которому я однажды позвонила — когда в Спецстудии всё-таки появился человек, выдавший ментограммы, похожие на ментограммы Поля. Я тогда позвонила, назвалась, сказала условную фразу, отключилась, а вечером мне назначили встречу в кинотеатре (показывали старую-старую ленту «Собиратели брызг», зал был почти пуст), и слегка заикающийся юноша выслушал мой (шёпотом) доклад, поблагодарил и вручил мне увесистый свёрток, в котором оказалась сумма больше моего годового оклада на обеих работах... Господин советник мог быть каким угодно лжецом и негодяем, но жмотом он не был определён. Да, и вот я позвонила второй раз, и мне сказали, что моего патрона больше нет, но тем не менее я как специалист, может быть, могу им пригодиться...

Я очень постаралась пригодиться.

Вроде бы получилось, да. Но меня всё время беспокоило — слегка — подозрение: а ценят ли меня за то, что я собой действительно представляю, — или же так вот благодарят за какую-то мне самой не до конца понятную старую услугу?...

Впрочем, выбирать-то было не из чего. Сколько я видела бывших своих преподавателей, продававших на улицах обувной крем, сальные

свечи или никому не нужные книги? Проходя мимо, я иногда думала: как хорошо, что меня почти невозможно узнать...

«Хиэшпар-Йачх» занимал не всю долину, а лишь её юго-западную четверть: большой палец и основание большого пальца, сорок километров на двадцать. Где был кончик пальца, располагался какой-то секретный объект, нам туда ход был закрыт. Южная оконечность Долины была отдана на разработку вольным старателям, с ними нам, наоборот, следовало установить добрые отношения. Нам же досталась область сустава — того самого, который выбивается почти при каждой драке...

Описаний этой части Долины было немного. Долгое время учёных сюда не пускали горцы, а потом, когда горцы ушли, стало не до науки. Так что мы имели некоторое количество карт, кроков, три экспедиционных дневника... ну и всё.

Жилых построек в Казл-Ду я насчитала пятьдесят шесть — каменных башен разной величины, от маленьких, как я выбрала себе, и до огромных, где за столом в зале нижнего этажа могли свободно разместиться человек сорок — в таких разворачивали администрацию и некоторые лаборатории; для своей я нашла другое место — угол рыночной площади. Сюда как раз встанет зимняя армейская санитарная палатка, а ничего лучшего я и представить себе не могла. Но это